

Неуемный бубен

Глава первая

Среди достопримечательностей нашего города после древнего Прокопьевского монастыря с чудотворною иконою Федора Стратилата, высоких древних, заново перекрашенных стен другого, женского Зачатьевского монастыря и пыльного бульвара, затейливо освещаемого единственною керосиновою лампочкою, тоже не без затейливости повешенною на проволоке между рестораном и эстрадою для музыкантов, после трактира Бархатова, знаменитого огурцами укропистыми и мерными какого-то необыкновенного засола и ядренистою белою капустою — за и ч и к о м, после дурочки с е с т р и ц ы Матрены, на которую одни молились, другие потешались, третьи отругивались, наконец, после памятника показывали Ивана Семеновича Стратилатова.

И у всякого мало-мальски сведущего на этот счет было полное согласие и единодушие. Скорее о монастырях поспорят, древность которых уже самой местной ученой архивной комиссией доказана, скорее в бульваре усумнится какой-нибудь г л у з д ы р ь заволжский либо в том же прославленном памятнике, но в Стратилатове никто и никогда, это дело немыслимое.

Двадцати лет начал он свою судейскую службу в длинной, низкой, закопченной канцелярии уголовного отделения, во втором этаже, и вот уже минуло сорок лет, много с тех пор сменилось секретарей, еще больше кандидатов — все чужой, наплывный народ, а он все сидел себе за большим, изрезанным ножами столом у окна, выходящего в стену трактира, около которой испокон веку складывались дрова, и переписывал бумаги.

Поговорите-ка, кого-кого он только не знает, каких губернаторов не вспомнит, о которых давно уже все позабыли, да что губернаторов! — председателя первого суда помнит.

Вон Адриан Николаевич, правда, волосу много, архиерейским гребнем не продерешь, а успел-таки ноги пропить, и сколько там ни мудрит секретарь Лыков, сажая безногого параличного писца

для обуздания в архивный шкаф под замок, пропьет и последнюю свою голову. Нет, Стратилатов не чета Адриану Николаевичу, и столы-то их не рядом, а друг против друга, и недаром пишущую машину между ними поставили: водки Иван Семенович отродясь не знал, что это за водка, да и кандидатская пушка в тоненьком мундштуке никогда не соблазняла его, не курил.

— А зато жив и здоров, — пояснял Стратилатов, — прожил шестьдесят лет, проживу и сотню, проживу сотню, дотяну до другой: в первые времена по пять сот благочестивые люди жили, и все такое.

По словам Лукьяна, сторожа, за все сорок лет с Стратилатовым ровно и перемены-то никакой не произошло, цел, как целыши ягоды либо яйца. Положим, это и не совсем так — Лукьян кривой, на левый не видит, — а все-таки Иван Семенович еще молодцом и крепок, как крепкий хрен, хоть куда. Само собою, курчавых черных волос, о которых не раз проговаривался Стратилатов, кудрей этих — девьей сухоты и в помине нет; чисто, гладко — плешь во всю голову, от бровей до затылка, вот такая. Но что за беда, с плешью даже удобнее: деревянного масла меньше расходуется да и муху на плешу легче убить, притом она ему и к лицу как-то. Это товарищ прокурора обязательно должен бобриком стричься да чтобы руки были большие белые, как белые перчатки, с рубинчиком на мизинце, а у Ивана Семеновича и руки-то самые обыкновенные, пальцы вроде лопаточек.

— Плешь — украшение мужчины, — говорил сам Иван Семенович, и не без гордости.

Другой сторож, Горбунов, которому Иван Семенович считает своим долгом всякую субботу всучить душеспасительную картинку, такой же, как Лукьян, ветхий, и хоть смотрит в оба, а тоже перемены никакой не видит и только на уши указывает, что как-то широки они очень у Ивана Семеновича да длинны ни на какую статью, и словно бы в те еще времена, как жива была покойница мать Стратилатова да первым охотником слыл Стратилатов по городу, словно бы тогда за черными кудрями они и не так торчали, не заострялись так кверху.

Что правда, то правда: уши большие — ушан, спору нет, но посмотрите, когда спит Иван Семенович, войдите незаметно в его спальню, когда после обеда, распластавшись на продавленном тюфяке и голову закинув на промасленную, как блин, подушку,

лежит он на своей колченогой железной кровати, они и совсем ничего: разлопущатся листом по подушке, сразу и не заметишь. Вся причина, должно быть, в серой жокейской шапочке с пуговкою, которую носит Иван Семенович, это от нее.

Остаются очки — без них Стратилатов шагу не ступит, всегда на носу, — и не светлые, как у Адриана Николаевича, а дымчатые — консервы, а из-под очков чуть заметные, полузакрытые веками, мутные глазки и белки, такие желтоватые с красными жилками.

Так-то оно так, но сам-то Иван Семенович утверждает совсем другое: очки, все равно как и калоши, носит он больше для виду, а глаза у него голубые. Чем черт не шутит, может быть, они и вправду у него голубые и только из-под дымчатых очков такими кажутся мутными с желтоватыми белками, — обман зрения.

Шестьдесят лет стукнуло Стратилатову — седьмой десяток пошел, сорок лет как сидит он в суде да бумаги переписывает, и за все сорок лет не пропустил ни одного дня и во все дни никогда не отлынивал от дела, а перемены, как видно — какая же перемена? — в бане под паром, подбери он только живот, и совсем за своего помощника Забалуева сойти может, а Забалуев писарь — ёр а-мальчишка.

— Собачья старость! — ухмыляясь, говорил Адриан Николаевич, подмигивая из-под очков на своего сослуживца, и говорил так безногий, конечно, больше насмешки ради, чтобы поиздеваться, или просто из зависти, ибо всегда был и останется, по меткому определению Ивана Семеновича, о б у я н б е с о м.

И в самом деле, какой иной смысл в этой с о б а ч ь е й с т р а с т и, чередующейся с Г е к у б о й, Г о л г о ф о й, А в а р и е й, О б ь е к т о м, С ф е р о й, Р а у т о м и тому подобными ни на что не похожими выражениями, по крайней мере, никакой видимой связи не имеющими с Стратилатовым: сидит вот так, сидит, бумаги переписывает, либо прошение сочиняет, либо всей пятерней разглаживает свою клочкастую рыжую бороду да с пьяных глаз и пустит через стол что-нибудь в таком роде, а все чиновники так смехом и заливаются, со смеха мрут. Ну, да верь всякому вздору, говорить с безногим — гороху наестся, и то мало, сказано: о б у я н б е с о м.

Другое дело всхвятский дьякон Прокопий, в доме которого вгнездился Стратилатов. Прокопий, когда речь заходила о бес-

примерной крепости и не по летам цветущем виде неугомонного жильца, ссылаясь на е с т е с т в о.

— Естество, — говорил дьякон, потягивая свою рыжую редкую бородавку, — такое естество, его же уставы поправить невозможно.

И, пожалуй, дьякон был прав.

Как яйцо круглый и полный, во всю щеку румянец, да такой румяный — малина, а губы — сирень-цвет, другого не подберешь, и над губою — пушок либо так углем по губе кто провел, с масленицы осталось, нос — его за три версты увидишь — длинный, и все такое сытое да наливное, сахарное.

— Когда буду старым, отпущу бороду, — не без удовольствия объявлял досиня выбритый и даже кое-где поцарапанный от тщательного бритья Иван Семенович и молодецкато вытягивался на своих жилистых тонких ножках, инда утроба вся вздрагивала, стойкий, этак вставал открыто плешью к солнцу, крепко и твердо упираясь на свои огромные тяжелые ступни: вот, мол, я — голова.

И все, как один, соглашались, что Стратилатов — голова, каких мало, но тот же Адриан Николаевич не пропускал и тут случая позубоскалить.

— У тебя не голова, — ухмылялся безногий, — у тебя так, брат, головка!

Глава вторая

Всякий день поутру, часов в семь, когда по домам еще бродит сон, последний, но зато самый сладкий и такой крепкий, что ни стуком дров, ни колокольным звоном — а звонят и в Прокопьевском и в Зачатьевском, и в приходских церквах — никакими силами, кажется, не одолеть и не выгнать его за дверь в сени, когда одни лишь торговки с молоком и корзинами идут на базар и кричат, как только умеют кричать одни лишь торговки, да бегут чиновники в казенную палату, в этот ранний заботливый час, проходя по Поперечно-Кошачьей, легко столкнуться лицом к лицу с Стратилатовым.

Зимой он в ватном пальто, на шею намотан красный гарусный шарф, летом в сером люстриновом пиджачке и в серой жокей-

ской шапочке с пуговкою, из кармана непременно торчит пестрый платок, под мышкою синий мешочек с сахаром, и всегда калоши.

И если бы вдруг под каким-нибудь волшебным глазом так все изменилось: перескочили бы усики-пушок, долгий нос, малиновый румянец и сама гладкая, смазанная деревянным маслом стратилатовская плешь на другую и совсем непоказанную голову, на полицеймейстерскую — на самого Жигановского, а жигановские усы на председателя — старичка чахоточного, безвозвратно перетерявшего за упорными болезнями всю свою природную отклику, а сам Стратилатов превратился бы в какого-нибудь кита, свинью, мышь или белую лебедью поднялся бы со стаей лебедей над Волгою, все равно по одному синему мешочку и калошам ни с чем его не спутаешь.

Как в суде, так и в других казенных учреждениях чиновники обыкновенно пьют чай в складчину, сахар обходится в месяц семнадцать копеек на брата. По расчетам же Стратилатова выходило, что выгоднее носить свой сахар. Вот почему неразлучен с Иваном Семеновичем синий мешочек, и это всем известно. Что же касается калош, то по огромности своей стратилатовские не уступят даже и тем, что в витрине у Охлопкова для ротозеев выставлены, и из тысячи в какой угодно толпе выделяются, притом с первого же взгляда в глаза бросится, что и надеты-то они только для виду: сапоги у Стратилатова рантовые, солдатские, из толстой грубой кожи, которую ни дождь, ни мороз не берет, и одни сами по себе без всяких калош прекрасно скрадывают пространство.

Поднявшись в шесть под всехсвятский благовест и помолвившись Богу, а Иван Семенович молится долго и усердно, выбрившись и поворчав на Агапевну, с незапамятных времен прислуживающую у Стратилатова, после утреннего чаю отправляется он по Поперечно-Кошачьей на толкучку, где с час и толчется около всякого старья и книжных ларей будто безглазый, в своих темных очках, как-то носом, что ли, высматривая заброшенное добро, сваленное как попало, вперемежку с пустяками.

Толкучка для Стратилатова не праздное развлечение праздного человека, толкучка для него — существование, дело, как для врача эпидемия, для адвоката разбой, для газетчика несчастное происшествие; и не из тридцатирублевого чиновничьего жалованья, а через эту толкучку лежало у Стратилатова в государственном банке неприкосновенно целых десять тысяч.

— Умные люди всегда устроятся, дураки никогда не умеют! — так говорил Стратилатов.

Еще в свои молодые годы занялся Иван Семенович промыслом — продажей старинных вещей. Купить удавалось ему всегда задешево — без кошелька не выходил на толкучку и, пока другие зевали, брал без всяких проволочек облюбованную вещь, а затем сбывал ее за хорошую цену столичным скупщикам. Так, скупая и перепродавая, сколотил себе Стратилатов капитал.

Наш город стариною славится.

Но не одна выгода, также и страсть гнала Ивана Семеновича на толкучку, и не меньшая, чем у соседа его Тарактеева, мучного торговца, начетчика и нумизмата, и сам он не прочь был из-за какой-нибудь гравюры, качества весьма подозрительного и вовсе не принадлежащей Рембрандту, которому любил приписывать все без исключения свои гравюры, так рассориться с приятелем, как недавно еще поссорились на всю жизнь городской врач Лихарев с архитектором Барановым из-за каких-то кресел, будто бы п е т р о в с к и х, и не все продавал он из добытых драгоценностей, оставляя себе кое-что и действительно ценное. И вот почему среди судейских чиновников один Борис Сергеевич Зимарев — помощник секретаря и непосредственный начальник Стратилатова — за умение свое точно и верно определить древности снискал у него искреннее уважение и даже дружбу.

В нашем городке всякий во всем понимал толк, да как-то без толку.

К девяти Стратилатов в суде. Он приходит первый, раньше всех, и только за последнее время секретарь Лыков не отстает от него, а иногда и предупреждает, но Лыков — исключение и вообще на настоящих прежних секретарей ничуть не похож. Прокурора Лыков не боится, а прокурора все боятся, язык у Лыкова не лопотун, не жало, а попадешь ему на язык — в когтях у черта уютнее, просмеет, отбреет и все напрямик в глаза жарит, без обиняков, без околичностей, без лжи и лести, а когда смеется — бровью не двинет, точно замком заперт, и так законы знает, будто сам сочинял их.

Стратилатов является в суд не с пустыми руками: кроме синего мешочка с сахаром, он приносит с толкучки какую-нибудь старую вещь — картину, икону, книгу либо так, мелочь. И первым делом сложит покупку за свой стул к стеклянной горке, где хра-

нятся бланки, бумага и другие канцелярские принадлежности, затем, высморкавшись так, что вся горка звякнет и ей отзовется другая, с разбитым стеклом, от Адриана Николаевича, подложив под локти по листу чистой бумаги, чтобы рукавов не засалить, обсосет перо и примется за переписку.

До двенадцати лучше не беспокоить Стратилатова: в двенадцать секретарь потребует от него исполнений по предыдущему дню, и, хочешь не хочешь, подавай бумаги, а не подашь, Лыков потачку давать не любит, такой столбняк нагонит, своих не узнаешь.

И не столько выговор, сколько само по себе ослушание страшит Ивана Семеновича. Начальству он предан, страх перед ним знает, и чем выше начальство или, как говорится, иное какое усмотрительное лицо, тем страх сильнее: поджилки дрожат, ноги подкашиваются, ножки тараканы вырастают и до слез обуяет трепет, до потери всякого соображения, до полного забвения нужнейших житейских обстоятельств, как то: имени, отчества и фамилии, возраста, пола и положения, когда, например, случается столкнуться ему в прихожей с председателем, с которым ни разу во всю свою жизнь не сказал он ни одного слова. Нет, лучше не беспокоить Ивана Семеновича.

Но лишь только секретарь уедет с докладом и останется вместо него всего-навсего один его стол, заваленный делами, тут-то и наступает самое подходящее время побеседовать с Стратилатовым. Он становится неистощим и разговорчив: от одного к другому собирает он всех чиновников и, пришептывая от удовольствия, пускается во все тяжкие — всякие истории, всякие приключения, всякие похождения исторические, современные и даже апокрифические, из отреченных книг заимствованные, вроде «Повести о Ноевом ковчеге», и все, как на подбор, содержания весьма тонкого, жарит он на память, как по писаному, пересыпая анекдотами, шуткою и так, попутными замечаниями, тоже по смыслу своему исключительной легкости, затем переходит к стихам, известным больше в рукописном виде, нежели из печатных книг, вроде знаменитой «П е р в о й н о ч и», и декламирует поэмы нараспев, с замиранием — по-театральному.

Что за смех подымается! Вот лопнешь, вот со смеху надсадишь бока, нет ему тына, ни помехи — три кандидата за столом Стратилатова да три за противоположным у Адриана Николаевича, по-

мощник Стратилатова писарь Забалуев да Адриан Николаевич безногий с своим помощником писарем Корявкой — кто хохочет, кто сопит, кто взвизгивает, кто просто подкрякивает, а сам Иван Семенович так ржет, пыль подымается, пылинки летят, точно перетряхивают сданные в архив пропыленные дела.

Другому бы и невмочь, другой угорит, но как раз именно этот-то воздух и действует на Стратилатова благоприятно: хлебом не корми, дай подышать.

Разгорячается воображение, вылетают слова все игривее и забористее, да такое загнет, небу жарко. И уж не пришепетывает, а словно в бубен бьет, молодцевато вытягивается на своих жилистых тонких ножках, инда утроба вся вздрагивает, стойкий, этак встает открыто плешью к солнцу, и она, гладкая, смазанная маслом, маслянистая, румянится, как обе щеки, малиновым румянцем.

— Неумный бубен! — зывал, трясясь от хохота, безногий Адриан Николаевич.

Когда в прокурорский надзор стали поступать для уничтожения конфискованные книги по статье, как говорилось в протоколе, соблазнительного их характера, Стратилатов, имея ходы, получал такие неудобные книги, внимательно, строчка за строчкою прочитывал их и, выудив места наиболее интересные и занимательные, преподносил чиновникам, к всеобщему удовольствию и развлечению всей канцелярии, и так же ржал, как при какой-нибудь «Азбуке» или при «В о с п о м и н а н и я х в д о в о г о с в я щ е н н и к а» — чтения довольно излюбленного и ходового, и так же подымалась вокруг пыль, летели пылинки, точно перетряхивали сданные в архив пропыленные дела.

— Грязный человек! — так отзывался, не иначе, секретарь о Стратилатове, имея в виду эту самую падкость Стратилатова на предмет исключительный.

Как огня боялся Иван Семенович Лыкова, но это мнение о себе пропускал он мимо ушей, не трогало оно его и не могло уколоть. Слава Богу, за сорок-то лет беспорочной службы нос его кое-что чувял, и пускай Лыков — законник, пускай аккуратен, как немец, и всех в страхе держит, а все-таки — тут Иван Семенович отдал бы руку на отсечение — Лыков революционер. Революционеров же Стратилатов за людей не признавал, а так, за шушера, выделяя лишь одних декабристов.

— Только благородные и могут бунтовать, а это все шушера! — вот подлинные слова Стратилатова.

Молодежь — чиновники, не относясь к Стратилатову так безразлично и строго по-лыковски, насмехались над ним и изводили его, когда ему совсем было не до смеха, и чаще при спешных делах до чаю, за развлечения же и за то, что давал взаймы, пожалуй, даже любили.

Стратилатовское правило всем хорошо известно: попроси — не откажет, и расписки не надо, и только для порядку, когда уж возвратишь долг, попросит расписаться, вытащит из кармана сложенный в восьмушку лист с записями и укажет твою фамилию:

— Отметьте, что получено.

Мудрое правило, всеми оцененное по достоинству.

И вот почему в три часа, когда из суда вываливалась компания молодых чиновников, и притом далеко не чинно, а шумно и безалаберно, это значило, что выходит Стратилатов.

По дороге домой обыкновенно он оканчивал спутникам начатый еще в суде рассказ, по тонкости своей, как всегда, требующий большой выразительности, прерывая свою кудрявую речь, и совсем не в ущерб ей, лишь у церквей, так как считал своим долгом, поравнявшись с церковью, обязательно помолиться, а молился Иван Семенович долго и усердно.

Так мирно в веселой компании да в приятных разговорах после дневных трудов добирался Стратилатов до Всехсвятской церкви. Миновал всехсвятский алтарь, окруженный могильными крестами, приходящимися как раз против окон его гостиной, завертывал он на свой двор и шел по дорожке важно, степенно и благопристойно, как подобает чиновнику, заглядывая через свои темные очки в окна смежной квартиры полицейского надзирателя и предвкушая обед, щи какие-нибудь горячие, которые изждались его, упревая в печке за розовую занавескою, как изждалась старуха Агапевна, принимавшаяся уже несколько раз раздувать ружим стратилатовским сапогом непослушный пузатый никелированный самовар — в а з о й, и, дойдя до амбара, где хранилась старинная мебель, сундуки и всякие мешки, опять заворачивал, ускоряя шаг при виде узенького крыльца и покосившейся, обитой войлоком и клеенкой, захватанной драной двери.

Глава третья

Откуда и как пошел Стратилатов, в точности не выяснено. Отец его из крепостных — управляющий в имении одного из крупных, впоследствии разорившихся помещиков нашей губернии, некоего Обернибесова, мать — обернибесовская крепостная. А между тем сам Иван Семенович не без таинственности заявлял, что мужицкого в нем ни вот эстолько! — и что он — дитя дворянское и, как на некоторое будто бы неопровержимое доказательство, тоже не без таинственности и с видимым удовольствием, указывал на это место, как сам любил выражаться, — на свой длинный нос, который за три версты увидишь.

Опровергать не опровергали, никто этим не занимался, и сам вольнодумствующий Адриан Николаевич как будто тоже ничего не имел против, даже наоборот, был как-то особенно заинтересован и при случае считал своим долгом высказать собственные догадки о таинственном зачатии Стратилатова.

Адриан Николаевич утверждал, что это место — нос стратилатовский — ровно ничего не доказывает, а если и доказывает, то как раз противное: ведь и последнему дураку ясно наизаконнейшее его происхождение от законного родителя — наследство простого человека, другое дело, будь на нем родинка или еще какое украшение, а что вот другое место и не менее выдающееся — стратилатовские лопухатые уши, заостренные кверху, подлинно самое настоящее высшей породы — обернибесово, и если уж ссылаться, так именно на уши и отнюдь не на нос.

Ошибался ли Иван Семенович, а Адриан Николаевич был прав, или, наоборот, Иван Семенович был прав, а Адриан Николаевич ошибался, разобраться в таком мудреном деле сверх силы человеческой, и лучше всего, да так и наитие подсказывало, положиться на обоих, веруя тому и другому — и в нос и в уши.

Детство Стратилатов провел в обернибесовской старинной усадьбе и воспитание получил, как кажется, под стать таинственному своему зачатию. Смутно и путано вспоминал Иван Семенович свои ранние годы, течение которых будто бы складывалось возвышенно и необыкновенно.

Уж само крещение было необыкновенно. Крестили его не в купели, а через шапку. И произошло все это при самых исключительных обстоятельствах. Было в тот год на селе беспопо-

вье — умер священник, а родился Иван Семенович зимою сла-бенский — везти такого за сорок верст в ближайший приход было невозможно. Послали Егора, столяра обернибесовского, в то село к священнику. А священник ехать не может — храмовый праздник. Что делать? Да вот что делать: окрестил батюшка шапку и дал ее Егору, чтобы тот, как приедет, надел бы ее на младенца, и уж никакого крещения больше не надо. Спрятал Егор шапку, поехал, верст двадцать отъехал, вывалился на ухабе, — имя-то и забыл. Повернул назад и прямо к священнику, а поп имени не хочет говорить: «Дай, — говорит, — двугривенный, скажу». Егор ему полтину — деньги-то управляющего! — да на радостях в трактир, выпил, обогрелся, шапку-то и потерял. Шапчонка старенькая, грош ей цена, да с пустыми руками тоже вернуться неловко. Едва отыскал какую-то, да скорее домой. Надели ее на младенца, так через шапку и окрестили. Вот какая история!

Рос он смышленным, рано выучился грамоте — скоро она ему в ум далась, и умел из ружья стрелять, рано пристрастился к чтению, перечитал много и разного, но больше божественного, пробовал и сам сочинять, писал стихи. Семнадцати лет, по смерти отца своего, переселился с матерью в город, в дом всехсвятского дьякона Прокопия. Из деревни вывезено было много всякого добра, и, может быть, оно-то и легло в основание тем собраниям редкостей, какими славится Иван Семенович, и положило начало его промыслу.

О законном отце своем Стратилатов сам никогда не вспоминал, а на расспросы отвечал неохотно и говорил не иначе как с какою-то горькою обидою и даже с презрением, и единственно за то, что отец — простой мужик. Мать же свою обожал, ухаживал за нею, холил, жалел и берег пуще себя, чуть не молился на нее — примернее и почтительнее не найдешь сына, а после смерти ее сохранил самые трогательные воспоминания, и кровать красного дерева с бронзовыми маленькими крылатыми львами и венчиками, на которой спала она, стояла под чехлом в сарае неприкосновенно.

— Мне ничего для мамы не жалко, — рассказывал, бывало, Иван Семенович, — я наверное знал, что она помрет, но все-таки шесть рублей восемьдесят семь копеек истратил на лекарство. Так мне скучно было, места не нахожу, некому чаю налить.

Год спустя после смерти матери, справив поминки, Стратилатов женился.

Рассказывали, что в день свадьбы, после венца, когда разошлись гости, провел он ночь один, затворившись в гостиной, и, стоя на молитве, боролся с собою.

— Иван, опомнись! Иван, побори! — так будто бы укорял Иван Семенович и обуздывал себя до самого утра, и взошло солнце, и все-таки не поборол, зато уж на следующий день в радости песни пел.

Жену он взял себе молодую, красивую. Глафира Никаноровна тихая, кроткая, редко слово услышишь, и одна забота, что о своем Ванечке, да такая усердная и желанная, любо-дорого посмотреть, и по-старинному: руки с подносом, ноги с подходом, голова с поклоном, язык с приговором, — чего еще, живи, как Адам в раю, — а между тем на другой уж год Стратилатов снова остался в одиночестве.

Надо сказать, что об эту пору назначили в наш суд нового следователя — молодой человек, весельчак, большой шалопут и, хоть ни в каком родстве не состоял с Стратилатовым, фамилия одна и та же — Стратилатов.

Бывают же такие досадные совпадения: живет человек тихо и никого не трогает, все тебя знают и ничего за тобою не числится, и хват, в один прекрасный день появляется некто с твоей фамилией, и все перевертывается — ты уж тот, да не тот, или не совсем тот, потому что есть еще и другой, дели с ним свое имя, дели и всякую пакость. И появляется тебе этот самый с твоей фамилией не в каком-нибудь головоломном фантастическом смысле — не от расстройства и дурного воображения, а самым живым и осязаемым образом, с метрикою и даже с положением, и тут-то подымается проклятая мысль: а что, если этот новоявленный — настоящий, а ты — подделка?

Задумался Иван Семенович и стал все думать и всякие строить предположения: что все это значило, и к чему бы это такое было, и нет ли тут какого знаменья, и кто настоящий, он, Стратилатов, или тот, следовательно Стратилатов? И, ничего определенного не решив, насторожился.

Все шло по-хорошему, не случилось никакого недоразумения, не было путаницы и подмены, и уж собирался было Иван Семенович к новому году выкинуть из головы все свои опасения и окончательно утвердиться, что он и есть самый настоящий Стратилатов, а следовательно — подделка. И вот, словно бы нечистое

что, потянуло его на именины к Артемию, старому покровскому дьякону.

Как всегда, именины Артемия справлялись хмельно и весело. Навалило гостей, хозяина с ног сбили. Много было барышень и много подавалось угощения. Стратилатов был в самом хорошем расположении духа, набил полные карманы лакомствами для своей Глафиры Никаноровны, философствовал с Зачатьевским Ахитофелом — протопопом отцом Пахомом, щеголяя свою ученостью и в оборотах речи употребляя отборные слова, вроде какого-нибудь паки-течения, он-сицы, непщевания, гобзования и тому подобных замысловатостей, впопад и невпопад, а когда стали в фанты играть, засыпал остротами, а за верблужьим скаканьем, как выражался Артемий, — за танцами смешил анекдотами, рассказами о Карапете Карапетовиче и его приятеле, о преимуществе новых языков перед древними, про смекалку, жуую ремешки и про другие не менее забавные случаи, да так и не заметил, как ужинать подали. И вот за ужином среди всяких шуток, когда гости стали похвалиться друг перед другом, расхвастались, послышалось ему, что в пьяном углу заговорили о Глафире Никаноровне, стал прислушиваться — так и есть, о ней, и все в выражениях самых иносказательных и неравнодушных, затем кто-то сказал:

— Эх ты, слепая курица, чего говоришь зря, по уши врезалась она в Стратилатова, их и водою не разольешь.

Выронил Иван Семенович вилку, как обухом ударило его по лысине: представился ему вертлявый следователь Стратилатов, вспомнились ему все предчувствия, вся тревога, и так зарябило в глазах, такое сердце взяло, что сам бы себе язык перекусил. Под предлогом внезапного внутреннего расстройства Иван Семенович вылез из-за стола вон и, сломя голову, без шапки, бросился домой. Как добежал, не помнит, бешеный ворвался в дом и прямо с кулаками на Глафиру Никаноровну.

— Вон, вон из моего дому!

Та со сна ничего не понимает.

— Куда, — говорит, — мне деваться?

А он ее за косы, да так, что косы остались в его руке, пихнул к дверям, да за дверь, да как саданет коленкою с крыльца:

— К Стратилатову, вот куда, к паршивцу своему Стратилатову, чтобы и духу твоего не пахло.

Так и выгнал ни за что ни про что и бескою.

Глафира Никаноровна сама после всю эту историю всем рассказывала и со всеми подробностями, жалуясь на свою горькую, сиротскую долю. Иван Семенович молчал, и не поминай ему — уши затыкал, когда говорили о жене его, имени ее не хотел слышать. А когда, и это еще совсем недавно, помощник Адриана Николаевича писарь Корявка прошелся спьяну насчет неудавшихся браков вообще, и хоть имена умолчал, но очень уж прозрачно, Иван Семенович схватил чернильницу и пустил ее в Корявку — в Корявку не попал, промахнулся: у секретарского стола грохнулась чернильница, и осталось до сих пор черное пятно. Значит, и через тридцать лет все еще кипело и мучило — вот какие бывают искушения!

Следователя Стратилатова в тот же год перевели от нас, Глафира Никаноровна доживала век у своей матери, тихая и кроткая.

Одному оставаться в доме невозможно: и скучно, и неудобно, да и за домом надо чтобы присмотр был. Не устроил Стратилатов себе тихого семейного очага, не удалась ему семейная жизнь, ну да хоть как-нибудь, а надо наладить жизнь. Тут-то и определилась к нему Агапевна, и за старостью лет, никуда не годная, нанялась очень сходно — не за жалованье, а всего за один хлеб, и с тех пор служит ему безответно и безропотно, верую и правдою.

Глава четвертая

Замечательный человек Иван Семенович, и всехсвятского дьякона дом, где протекают его тихие, одинокие дни, особенный.

Дом небольшой, — две низенькие комнаты и кухня, и везде лампадки: в кухне лампадка, в спальне лампадка, а в гостиной две — в обоих передних углах. Иван Семенович сам любит зажигать лампадки, Агапевне не доверяет — старая, руки у нее трясутся и за что ни возьмется, все из рук валится, и только в постные дни, в среду и пятницу, когда, по примеру Агапевны, употребляет Иван Семенович натошак святое масло, дозволяется ей вскарабкаться на табуретку и взять ложечку из лампадки.

Как пройдешь сени, если, конечно, за сундуки не зацепишься и шею не свернешь, будет кухня: налево шкаф, против шкапа рус-

ская печь с розовою занавескою, направо, у окна, залавок, посреди дверь в спальню. И везде, по всем углам, у печки, за шкапом, у залавка черствые хлебные корки сложены. Зачем понадобилось Агапевне черствые корки копить, Бог ее знает.

Беда с Агапевною! А ведь как старается старая, из кожи лезет, из последних своих клячных сил трудится, лишь бы только угодить своему соколу — Ивану Семеновичу: ходит за ним, как за малым дитем, и чтобы сердце его не уныло, охотно сказала бы сказку, да память плоха — годы отшибли, и песню бы спела, да голосу нету, и что хочешь, — проплясала бы, заплела бы плетень, завилась бы вьюном, вывернулась, да старые кости — ноги не слушают, все бы вынесла — грубое слово, только бы из его сахарных уст, нелюбый взгляд, только бы из его светлых глаз, приняла бы напрасную смерть, только бы от его белых рук, а помрет Стратилатов, так она к нему, к покойнику, как к мощам, приложится, и не тление — благоухание от его смрадного трупа послышится ей, и, кто знает, исцеление себе получит, да и другому недужному здорovie вымолит. Ей-Богу, заставь Иван Семенович Агапевну собачьему лаять либо петухом петь, не заперечит: взвизгнет, залает шавкою, петухом прокричит, но от этого ничуть не легче. Беда с Агапевною!

В прежнее-то время старуха и пироги пекла, а нынче ослабла, ничего не может: того недоглядит, другое упустит, третье недоглядит, только мышей разводит.

Хорошо еще, что Иван Семенович невзыскателен — ему одно: побольше чтобы всего было да понаваристее, а таракан ли во щак плавает или лавровый лист, это ему все равно, да еще хорошо, что строгий он постник, все четыре поста соблюдает: и Великий пост, и Петров, и Госпожинки, и Филипповки, все двенадцать пятниц, и в среду, и в пятницу, и даже понедельник.

— Вот, старуха, — скажет другой раз Иван Семенович, — мало ты делаешь, а ведь хлеб-то ешь.

— Так, батюшка.

— Много ты ешь хлеба.

— Так, батюшка.

— Чаю пьешь много.

— Так, батюшка.

— Ты хоть бы таз вычистила.

— Хорошо, батюшка.

В жаркие дни, перед обедом, не столько от жары, сколько для удовольствия, Стратилатов обливался колодезною водою около грядок; грядки против кухонного окна, в церковной ограде, там же и колодезь.

Раздевшись в кухне весь донага и запасшись соленым огурцом, Иван Семенович вылезает в окно и, обойдя грядки, становится под ракиту. Агапевна с тазом вскарабкивается на табуретку, и начинается омовение. И во все время, пока бежит вода на его распаренную, смазанную деревянным маслом румяную плешь, ест Иван Семенович соленый огурец, веруя, что с его помощью не прильет кровь к голове и солнца бояться нечего.

Предусмотрительность совсем не лишняя: солнце как раз в эту самую минуту призадерживалось, подымало свой осовелый, знойный глаз, жаркое, замирало прямо над Иваном Семеновичем, залюбовавшись ли на него, а он поистине был великолепен во всей своей красе с соленым огурцом во рту, или завидуя ему, а удовольствие, испытываемое Стратилатовым, было столь велико, что лопухатые, заостренные кверху уши его блестили.

Редко, однако, обходилось удовольствие без неприятных последствий, но не солнце — от него огурец защита, причина — Агапевна: то выскользнет таз из ее трясущихся рук, то воду прольет мимо, то себя обольет, то скувырнется с тазом наземь.

— Ты, Агапевна, хоть бы попрактиковалась, — скажет в досаде Иван Семенович, — зря только воду льешь, еще всемирный потоп сделаешь.

И вот из преданности ли, не смея ли послушаться приказаний или из страха всемирного потопа, Агапевна практиковалась: протаскивала она через окно порожнюю кадущку из-под капусты, ставила ее под ракиту, где Иван Семенович становился, вскарабкивалась с тазом на табуретку и поливала. Но путного из этого ничего не выходило: кадущка обливалась исправно, а Ивану Семеновичу не так еще давно чуть было голову тазом не проломила.

— Наказание мне с тобою, старуха! — скажет другой раз Иван Семенович.

— Так, батюшка.

— За грехи мои послал тебя Господь Бог.

— Так, батюшка.

— Крест ты мой.

— Так, батюшка.

— Ты хоть бы комнаты проветрила, не почтово-телеграфное отделение.

— Хорошо, бабушка.

Обедает Иван Семенович в гостиной.

Кухня, спальня, гостиная — так идут комнаты. Гостиная — самая парадная, и кажется, нет в ней свободного уголка, вся она заставлена и завешана. По стенам масляные картины и гравюры в больших старинных рамах, акварели, миниатюры, гобелены, и на всех картинах и гравюрах — красавицы, и все, как на подбор, в соблазнительной своей натуре. Одно исключение — портреты царей. Есть и другие картины, но они стоят повернуты лицом к стене, это те, где отсутствуют дамы. И там много смотрит всяких красавиц, что сразу не разберешь, где лицо, где принадлежность, сам же Стратилатов знает каждый мизинчик, каждую ямочку, каждое родимое пятнышко и любовно дает объяснения о любой, такие милые и игривые, выражаясь по-своему, возвышенно, стихами рукописными.

По словам Ивана Семеновича, если бы возможно было, он обратил бы всех красавиц в перочинный ножик и положил бы себе в карман, чтобы были неразлучны они с его сердцем, или обратил бы их в нарядных кукол, чтобы играть с ними, держа всегда у груди.

Как только очухаешься от картин, выступают перед тобою и другие предметы. Налево от двери большой сундук, полон, набитый книгами, от сундука по стене витрина с монетами — монеты рядом лежат по зеленому полю, и все редкие, прекрасной сохранности, все же истертые-слепые у Стратилатова ходко идут на любителя, ну хоть тому же соседу Тарактееву, от витрины до угла стол с портфелями, в портфелях гравюры на меди, других Стратилатов не держит, и, конечно, все рембрандтовские, в углу икона Спасителя — Г р о з н ы й и С т р а ш н ы й С п а с. Направо от двери горка с саксонским фарфором, от горки по стене стол, на столе старинные ларчики, миниатюры и дешевые соблазнительные открытки, под столом довольно увесистая укладка величиною в обхват, полная серебра и украшений, по бокам стола два венских стула; к углу шкаф красного дерева. Шкап особенный, с драгоценностями: тут и чашки белые, как сахар, с маленькими розовыми и зелеными цветочками, и хрусталь с вензелем червонного золота, чернильница в виде императорской короны — подарок гимназистки Яковлевой, которую, как признавался сам Иван Се-

менович, ровно три года соблазнял он и ничего не добился, печать Стратилатова, изображающая как бы некий перст, окруженный надписью: от оно го свое начало все восприяло, наконец, золотые тувельки и старинная чашка в виде яйца на курьих ножках с золотым крылом вместо ручки, эту чашку Стратилатов никому не дает, бережет пуще глаза, потому что из нее его мать чай пила. На шкапу приходо-расходная книга, куда Иван Семенович записывает и еженедельно подсчитывает расход свой на милостыню нищим, на дверцах шкапа старинный обернибесовский галстук с кистями. В углу икона Божьей Матери — В с е х с к о р б я щ и х р а д о с т и, между иконою и шкапом старинное оружие.

Гордость же Стратилатова — овальное зеркало с овальными углублениями, шестнадцать раз отражает.

— Купцы в ногах молили, предлагали сто рублей, не взял! — гордился Иван Семенович непродажным своим сокровищем.

Зеркало висит между окон, выходящих к всехсвятскому алтарю, окруженному могильными крестами, перед зеркалом стол, по бокам по стулу, а посередке кресло с орлами.

Тут, усевшись на царское кресло между двумя неугасимыми лампадами, у Спасителя и Богородицы, перед чудесным заветным зеркалом, отражаясь шестнадцать раз, обедает Стратилатов.

Кончится обед, разоблачится Иван Семенович — бережно снимет с себя серый люстриновый пиджачок, скинет долой сапожищи, шваркнет их в угол — и на боковую. Ложится Стратилатов, ложится и Агапевна.

Спальня между гостиною и кухнею — проходная, по стене к кухне — лежанка, возле лежанки колченогая железная кровать с продавленным тюфяком и промасленною, как блин, подушкою. На лежанке спит Агапевна, на кровати Иван Семенович.

Тихо и безмятежно спит Стратилатов. Глубокий крепкий сон непробудно завял его легкими крыльями, и кажется, прекращается в нем все течение жизни, наступало, как выражается всехсвятский дьякон Прокопий, в с е о б щ е е е с т е с т в а у с ы п л е н и е.

Сны Стратилатову снятся редко, а если уж надо присниться, то непременно такие дурные, хоть и вовсе спать не ложись. Три сна особенно мучили и изводили Ивана Семеновича.

Снится ему, будто едет он в золотой колымаге императрицы Елизаветы Петровны, на нем серый люстриновый пиджачок, на

голове императорская корона, и сидит будто он, развалясь, на высоких подушках. В окна мелькают дома с вензелями и везде одно имя, его имя — Стратилатов, бежит народ за колымагой, кричат «ура», а он себе сидит, развалясь на высоких подушках, ничего не думает, ничего не желает — блаженствует, «ура», Стратилатов! Но вот, как сворачивать колымаге на мост к бабьему базару, чья-то рука внезапно вытаскивает его через окно — и на мороз. Нет лошадей, а его, Стратилатова, в сером люстриновом пиджачке и в императорской короне, впрягают в стопудовое дышло и давай погонять. Жилится Иван Семенович, трется о стопудовое дышло, весь бок облупил, падает, опять подымается, выбился из сил, а колымага ни тпру ни ну. И нападает на него невыразимый ужас, начинает кричать, и кричит благим матом.

А другой раз снится ему, будто сидит он в своем царском кресле перед чудесным зеркалом и, отраженный шестнадцать раз, любит себя и вдруг замечает, что нос его скосился на сторону, и уж не узнает себя; одна ноздря маленькая, меньше игольного ушка, другая огромная, шире шапки — горло сквозь ноздрю видно. И опять от ужаса кричит.

Третий сон самый страшный, страшнее колымаги и носа. Снится ему, что он маленький и жива покойница мать. Матери будто недосуг: надо тесто ставить, блины печь и не х о д я ч и е, а ж и л ы е блины, как на поминках. И вот уложила она его в ящик, плотно накрыла крышкою, и понесла на погреб, и там закопала в землю. «Ночь обночуешь, а наутро возьму!» — и ушла. Лежит он в ящике — тесно, не перевернуться, и бок колет, и от сырости с крышки капает на лицо, а утереться нельзя — невозможно руку поднять. А капли холодные, тяжелые, упала одна на переносицу, потекла по носу да в рот, а за ней другая. Б о г о р о д и ц е, Д е в о, р а д у й с я, хочет выговорить Иван Семенович и вместо Б о г о р о д и ц ы начинает из «Г а в р и л и а д ы»: В ш е с т н а д ц а т ь л е т н е в и н н о е с м и р е н ь е... И в ужасе кричит, и кричит, и знает, что глубокий погреб — не услышат голоса, да само нутро кричит.

И все эти страшные сны снились ему почему-то под двенадцатые праздники, в простые же будние дни обыкновенно ничего не снилось.

Тихо и безмятежно спит Стратилатов. Глубокий крепкий сон завял его легкими крыльями, и, кажется, прекращается в нем все

течение жизни, наступало, как выражается всехсвятский дьякон Прокопий, в е с о б щ е е е с т е с т в а у с ы п л е н и е.

Но вещам не до сна в этот послеобеденный час, и они начинают свою вечернюю жизнь, пока еще не погас свет.

По левую руку от лежанки книжные полки с журналами — журналы перевязаны полными комплектами и расположены по их важности: «Исторический вестник», «Русская старина», «Русский архив» и в самом низу «Вестник Европы», «Русская мысль». На полках впереди книг табакерки и опять дешевые открытки соблазнительных красавиц вперемежку с видами святых мест. Против кровати книжный шкаф до двери, над дверью две олеографии: на одной нимфа, сидящая на дереве, на другой Серафим Саровский с медведем. И опять книжный шкаф и комод с гравюрами, гравюры на меди, и, конечно, все рембрандтовские, и тут же всевозможные душеспасительные картинки, которыми одаряется по субботам сторож Лукьян. Между шкапом и комодом перед окном подставка, на подставке гипсовый рыцарь с мушкетом и в латах.

Лукаво глядят с открыток красавицы. «Иван Семенович, — подмигивают красавицы, — встань! — и смеются, как бесята, все черноглазые, подзадоривают красавицы, — ну же, плешня, да встань!» — и одна за другою потупляются, как Танька М е р и н какая-нибудь в Денисихе. И наклоняется с дерева нимфа, протягивает пальчик: «Стратилатов, я пришла!» И выходят святые отцы, праотцы, великомученики, преподобные, великие чудотворцы из огненных срубов и тихих келий с медведем и благословляют его. «Мы станем тебе в помощь!» А гипсовый рыцарь с мушкетом и в латах не сводит своих белых упорных глаз.

Напрасно! Сном праведника спит Иван Семенович, ничто не расшевелит его, ничто не тронет. И если бы сама синяя страшная тетрадка, втиснутая в угол шкапа между «Скитским покаянием» и «Любовью — книжкою золотою», обойдя сторонкой «похождение Ивана Гостиного сына», «Пригожую повариху», стихотворения Нелединского-Мелецкого, Батюшкова, Подолинского, Кольцова, Некрасова и другие любимые книги и, пробравшись сквозь ненавистного ему Толстого, презираемого им Гоголя, уму непостижимого Достоевского и других подобных сочинителей, вылезла бы из шкапа, развернулась бы — страшная «Г а в р и л а д а», любимая и ненавистная, заветная и проклятая, да и та не подняла бы его из тихого безмятежного сна.

Утихает вечерняя заря, все предметы колеблются, как пьяные, и доносит ветер звон со старых звонниц и колоколен. Отдается, парит звон, колокол с колоколом перекликается — зазвонный, праздничный, буревой, гуд-колокол, и плывет из-за Волги крылатый и плавный лебедь-колокол. И вдруг как ударят в чугунную доску — задребезжит звонило, инда в висках треснет, и уж не колокол — Божий глас, это гонят стадо с полей — разревелся бык, ржет кобылица, звякает глухарь, гремит гремок, звенят бубенцы, раззвенелись бубенчики и сквозь звяк и рев свистит на ухо птица, свистит-пересвистывает, экая глупая!

С остервенением, оглушенный свистом, вскакивает Стратилатов на ноги, протирает слипшиеся мутные глазки, крестится:

— Господи, воззвах! — и, сплюнув на расхрапевшуюся Агапевну, снова завалится на продавленную теплую кровать: — Ну еще поплю маленько!

И спит тихо и мирно плотным крепким сном.

— Вот, Борис Сергеевич, — не раз жаловался Иван Семенович своему приятелю Зимареву, — старуха у меня Агапевна убийственно храпит, точно фельдфебель, не могу выносить: у меня сон тонкий, будкий, вообще люди образованные не могут этого переносить.

Но что поделаешь, тут и сам Зимарев, даром что помощник секретаря, и всякую древность определить может, и год и число ей скажет, да против природы и он бессилен. Против природы не пойдешь!

— Ты, старуха, хлеба много ешь, — примется выговаривать Иван Семенович.

— Так, батюшка.

— Это от хлеба.

— Так, батюшка.

— На меня еще подумают, и пойдет худая слава: хорош, скажут, чем занимается!

— Так, батюшка.

— Тебе грешно будет, ведь это смертный грех!.. Ты хоть бы попридержалась.

— Хорошо, батюшка.

И вот из преданности ли, не смея ли послушаться приказаний, или из страха смертного греха пробовала старуха попридерживаться. И минуту-другую еще кое-как с грехом пополам стерпит,

зато уж после как пустит — такой храп, такой свист, у соседа Тарактеева каменный дом, и то слышно!

Беда с Агапевною, и смех и грех.

— Агапевну я решил рассчитать, — опять жаловался Стратилатов своему приятелю Зимареву, — выдумала старая: с печки сверзилась, по прямой дороге идти не может, лезла на лежанку, свалилась, чуть меня не зашибла, с этакой высоты!

И, вечно жалуясь и зарекаясь по конец веку своему, не станет он держать Агапевну, Иван Семенович все-таки и представить себе не мог, как бы расстался он со старухою. Нет, Агапевна прижилась к дому, Агапевну все углы знают, и Агапевна все знает, что надо ее барину Ивану Семеновичу. Расстаться с нею так же трудно и, кажется, просто невозможно, как трудно и невозможно покинуть низенькие крохотные комнаты дьяконского дома, где похоронил он свою мать, женился и где, как и все люди, хотел бы со временем Богу душу отдать. И если бы даже под сердитую руку, выведенный из себя и, может быть, действительно оскорбленный, прогнал бы ее, то все равно на другой, ну на третий день, а уж непременно бы хватился ее, вышел бы вот так в сумерки на крыльечко и покликнул бы:

— Агапевна!

— Я, батюшка.

Глава пятая

Бульвар — место общественного гулянья. На бульваре Стратилатов свой человек. С препятствиями или спокойно и ровно, но всякий день, выспавшись после обеда до семи, в семь отправляется Иван Семенович гулять на бульвар.

Порасправившись на свежем воздухе, усаживается он где-нибудь на скамейку между рестораном и эстрадою, и сидит, развываясь, как на тех предательских высоких подушках золотой колымаги императрицы Елизаветы Петровны, и не шелохнется, млеет или насвистывает, помахивая перед собою тросточкою, в приятном ожидании с одною мыслью: не пора ли чай пить?

Проходящим по боковой аллее видна его серая жокейская шапочка с пуговкою да лопухатые заостренные кверху уши, беспокойно вздрагивающие всякий раз на шорох женского платья.

Не то в воскресенье, когда вечером на бульваре играет музыка. Музыка трогает Стратилатова до слез, от музыки он впадает в раж, минуты, кажется, не посидит спокойно, а если и присядет, то сейчас же встанет и пошел ходить. И что хочешь делай, хоть ножом режь, бегают взад и вперед. К мысли о чае: не пора ли чай пить? присоединяется пробужденное под музыку в его неугомонном сердце неугомонное желание, о котором он высказывается лишь в трогательные минуты дружеских излияний и которое ничем не выгубишь: найти среди гуляющих такую молодую хозяйственную девицу, которая полюбит его бескорыстно. И он бегают, как сумасшедший, будто безглазый, в своих темных очках, как-то носом, что ли, высматривая в нарядной примелькавшейся толпе ту, которая полюбит его бескорыстно, выликая ее и вышептывая.

Когда сгущаются сумерки и зажигается, затейливо повешенная на проволоке между рестораном и эстрадою, знаменитая лампочка, бульвар оживает. Набираются шумно городские сорванцы и гуляки, и за крикливою сворою по следам ее входит что-то подозрительное и скандальное, и бульвар принимает ту вечернюю воскресную выправку, которая сулит мордобой и участок. Одобрения и неодобрения начинают высказываться так громко и беззастенчиво, что хоть караул кричи — тут кавалер какой-то бросил барышне на колени зажженную бумажку, и та завизжала, словно перерезали ей горло, там другой кавалер ущипнул незнакомую даму, и опять крик. Крики, хохот, смешки, шутки, шалости и дурачество.

Стратилатов втирается в самую толчею и, окруженный молодежью: писарями, канцеляристами и всякой мелочью, балагурит на свою излюбленную тему и, дойдя до крайности в неистовстве своем, ржет. Но и в неистовстве своем под разгонную отчаянную музыку осипших инструментов, под пьяные выкрики из ресторана, под обрывки визгливых куплетов надоедливых, повторяющихся и каких-то пропащих, вроде тех, что поются у нас из году в год:

А это затмение было в кабаках,
А это затмение было в кабаках, —

среди всего этого пропащего затмения и искроу пробегающего тут и там самого безобразнейшего скандала Стратилатов и в чер-

ной толпе ищет среди гуляющих ту, которая полюбит его бескорыстно, выкликая ее и вышептывая.

— Я кавалер, — говорит про себя Стратилатов, когда в понедельник начинают в суде прохаживаться на счет какого-нибудь бульварного происшествия, — я не позволю себе, не бриторыльный лоботряс, не мальчишка я, Забалуева сын, Забалуев.

Нагулявшись вдосталь на бульваре, к десяти возвращается Иван Семенович домой чай пить.

Стратилатов любит чаю попить, пьет его помногу, не спеша, крепкий, как чернила, с панским вареньем, а чаще с медом — с липовым протопоповских сотов отца Пахома. Если случится гость, он всегда рад гостю, предложит стакан, угостит, потолкует, покажет редкости и честь честью проводит до двери. Гости долго у Стратилатова не засиживались: напился чаю и ступай.

За самоваром, как выходить седьмому чайному поту, появляется музыка: Стратилатов на гитаре мастер, да и петь, хоть голос не ахти какой, худо не худо, поет с чувством, с толком и страстью.

Гляжу, как безумный, на черную шаль,
И хладную душу терзает печаль... —

поет Стратилатов, бренчит гитара.

С умилением слушает Агапевна.

— Что, хорошо?

— Хорошо, батюшка, уж так хорошо, страсть как.

— То-то.

Что он ходит за мной,
Всюду ищет меня
И, встречаясь, глядит
Так лукаво всегда?.. —

поет Иван Семенович, бренчит гитара.

Слушает Агапевна, пригорюнилась старая, слеза прошибла, плачет.

— Что, хорошо?

— Уж так хорошо, страсть как.

— То-то.

В будние дни пению уделяет Стратилатов малый срок — в будни дела, да и не время, зато в воскресенье уж сколько душе угод-

Содержание

Крестовые сестры. Повести

Неумный бубен	7
Петушок	62
Крестовые сестры	80
Пятая язва	191

Весеннее порошье. Рассказы

Свет немерцающий	259
Свет незаходимый	287
Свет неприкосновенный	316
Свет невечерний	337
Цепь золотая	342
Матки-Святки	356
Кузовок	416

Огонь вещей. Сны и предсонье

Серебряная песня	445
Райская тайна	449
С пьяных глаз	456
Сверкающая красота	459
Сердечная пустыня	461